

Б. ЖЕЛЕЗНЯК



ОМЗВЕНЕВШИС
ШАГИ

Вологодской
областной судимого
им. Бабушкина
с четкой удобной
уважением

В. И. Стефанов;

14 XII 68.

В. Железняк



МЗВЕНЕВШЕ ШАГИ

625194



СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1968



Владимир Степанович Железняк начал свою литературную деятельность в тридцатых годах в Москве.

С 1936 г. живет в Вологде. Работая в музее и творческой организации художников, хорошо изучил историю и изобразительное искусство Севера. Им опубликовано много статей, рассказов и очерков. Отдельными изданиями вышли «Повесть о творчестве» (1956), «Вологда» (1963), «Художник Верещагин» (1967).

В книге «Отзвеневшие шаги» — новеллы и миниатюры о прошлом Вологодского края.

Сборник завершается маленькой повестью о трагической судьбе вологодского поэта-сатирика XIX века В. И. Сиротина.

В. С. Железняк — член Союза писателей СССР.



**НОВЕЛЛЫ
И
МИНИАТЮРЫ**



ИЗОГРАФ

ЛЫСЫЙ протопоп, снимая епитрахиль, сердито спросил:

— Доколе своей образиной храм божий пакостить будешь?

Человек в коричневом кафтане, с лицом желтоватым, бритым и тоскливыми глазами, резко ответил:

— Доколе не сдохну.

В храме было холодно, сыро. Сквозь решетчатые окна сочился белый туманный рассвет. Он казался молочным и слабо освещал стены храма. От этого молочного полусвета блекли переливчатые тона красок на фресках. Синие, пурпурные, золотисто-лимонные, они уходили к церковному куполу и там замирали.

Протопоп важно пошел к выходу, снисходительно отвечал на поклоны редких прихожан. Старый дьячок в старом заплатанном черном подряснике торопливо гасил мерцающие лампадки. Высокий худощавый ктитор, с козлиной бородкой, в сером кафтане, недовольно пересчитывал свечную выручку.

Протопоп подошел к нему и густой октавой спросил:

— Скудная лепта, Петрович?

Ктитор, что не шло к его высокой фигуре, тоненькой фистулой ответил:

— Groши, отец протопоп!

Человек в коричневом кафтане вдруг засмеялся. Смех гулко отдался в стенах храма.

— Ты это чего, еретик? — удивился протопоп.

Человек посмотрел на купол. Там в сером тумане плыли золотистые кони, невиданные цветы и веселые святые.

— На косушку хватит? — И человек протянул руку к ктитору. Тот плюнул в сторону.

— Иди, иди, — как-то испуганно проверещал он. — Иди, ради Христа!

Человек надел на растрепанные белесые волосы смешную рыжую треуголку и торопливо пошел к выходу. Вслед ему протопоп уронил:

— Пускать не след анафему!

Большая площадь тянулась от церкви к низеньким пузатым деревянным домишкам. Рыхлый талый снег хлюпал под ногами. По-весеннему кружились галки и вороны над обнаженными деревьями.

Засунув руки в карманы, человек шел по площади.

На углу был кабак. Человек дернул дверь, и его обдало запахом сивухи и пирогов.

* * *

...Был год тысяча семьсот двадцать четвертый. Март. Город Вологда.

Ранним утром, прыгая на снежных ухабах, кожаная кибитка со слюдяными оконцами неслась по Олонецкой дороге к городу. Возница в овчинном полушубке, привстав на облучке, дико гикал на лошадей.

За кибиткой едва поспевали сани; в них, подняв воротники полушубков, сидели двое преображенских солдат.

В кожаной кибитке было полутемно и стоял густой табачный дым. В неудобной позе — велик ростом — сидел пожилой мужчина, закутанный в меховой плащ. Треуголка от толчков сползла на ухо. Черные пряди волос лезли в глаза. Щетинистые усы двигались. В другом углу, в шубе и меховом чепце, дремала полная женщина.

Глаза мужчины были закрыты. Вот он открыл их и, черные с желтизной, они по-орлиному вспыхнули и снова закрылись.

Мимо мелькнули белые стены монастыря со сказочными башнями. На башнях сидели вороны и по весеннему каркали. Снег мокро шлепал, отскакивал от конских копыт. Промелькнули пригородные амбары, постоянные дворы, каменная тюрьма, и по деревянному мосту кибитка ворвалась в город.

Церкви с золотистыми главками, церкви с синими куполами, церкви с шатровыми колокольнями стояли над тишиной деревянных одноэтажных и двухэтажных домиков.

Ближе к центру тянулись каменные палаты купцов, вросшие в землю лавки. Над всем городом царил великолепный белый собор с венценосным золотом пяти шлемов.

* * *

Человек в коричневом кафтане вышел из кабака. Его широкое русское лицо с мясистым носом и полными красными губами, было оживленно. Серые глаза смотрели уверенно, а старая треуголка с повисшими краями была надета заливчатски набекрень. Он остановился на крыльце и посмотрел на церковь. Золотая луковка храма смело вонзала блестящий крест в серое небо.

Человек сказал:

— Ишь, куда лезет!

В молочном тумане послышалось гиканье ямщика и конский топот. Взмыленная тройка остановилась у крыльца кабака.

Дверцы кибитки раскрылись, и показалась фигура высокого пожилого мужчины в меховом военном плаще. Он выпрямился во весь рост, плащ спустился с правого плеча, и покраснели отвороты зеленого мундира.

И тогда человек в коричневом кафтане взглянул в лицо военного. Кроме глаз, он ничего не видел. Глаза были орлиные, черные, с желтоватым блеском.

Старая, с обвисшими краями треуголка сорвалась с головы. Белесые растрепанные волосы взметнулись по ветру.

— Узнал! — сказал военный густо и хрипло. И вздрагивающее в ответ:

— Узнал, Ваше величество!

— Ну, коли узнал, тащи чарку анисовой и крендель!

Человек метнулся в дверь, забыв поднять треуголку. Через минуту он выскочил обратно. За ним бежал кабатчик, держа на подносе большую оловянную чарку с вином и крендель. Царь взял чарку: выпил, отломил кусок кренделя, обтер обшлагом рукава губы и бросил серебряный большой рубль на поднос. Затем, поворотясь к человеку в коричневом кафтане, спросил:

— Из каких будешь?

— Изограф, сиречь мастер живописного дела, — прозвучало в ответ.

— Добро, — сказал царь. — Приходи ко мне на подворье.

Когда лошади отъехали, живописец поднял треуголку и, глядя вслед кибитке, тихо, как бы не веря себе, проговорил:

— Государь Петр Алексеевич!..

Его лицо просияло, и он почти побежал по мокрому лежалому снегу по направлению к церкви, все время повторяя:

«Государь Петр Алексеевич...».

* * *

Когда живописец снова вошел в церковь, там никого не было, кроме дьячка. Положив на скамью кусок дерюги с толченым кирпичом, он начищал подсвечники. Работал с увлечением, любуясь сверканием красной меди.

В церкви стало светлей. Притушенные утром росписи сейчас по-молодому переливались радужными нежными тонами.

Дьячок, на мгновение оторвавшись от своего занятия, взглянул на пришедшего живописца:

— Чего делать будешь?

— Государь Петр Алексеевич седни прибыл в Вологу, — сказал живописец.

— Ну? — спокойно произнес дьячок. — Как ему ездить-то не прискучило?! Годами, почитай, на шестой десяток пошло, и все спокую нет! — И укоризненно: — Прежде государи настоящие из палат царских не вылазили!

И опять усердно зашаркал суконкой по подсвечнику.

— А чем он не настоящий? — спросил живописец.

— Чем? — нехотя молвил дьячок. — И обличием и рылом скобленным. Антихрист — не антихрист, а вроде того! — И уже не обращая больше никакого внимания на живописца, перешел к другому подсвечнику.

Живописец стоял посреди храма и смотрел на росписи. Каждый раз, глядя на эти живущие на стенах фрески, он не верил, что они созданы им. Казалось, кто-то другой, сидящий в нем, вдохнул жизнь в эти синие, золотистые, голубовато-нежные и пурпурные краски. Он ощущал движение фигур, бег золотистых коней, красоту невиданных арок, замков, шелест ярких деревьев, запах лимонных яблок и свежесть перламутровых небес.

Вон там упоенно пляшет Саломея в сарафане московской боярышни. Алым фонтаном брызжет кровь из усеченного тела Иоанна Крестителя. Мудрый Соломон поет «Песню песней», и восемь львиц лежат на ступенях его мраморного трона.

Живописец поднял голову к куполу: золотой конь плыл по голубому своду. Гибкая смуглотелая Ева подавала яблоко Адаму. И было видно, как, нарушая библейские заветы, Адам не обреченно, а радостно протягивал руки к мерцающему желтому плоду.

Кружились в белых с синими разводами плащах серафимы, и, утверждая жизнь, упруго поправ пурпурные облака, трубили в серебряные трубы веселые архангелы.

А с купола взирал на них Саваоф и удивлялся, как и сам художник, этому яркому языческому празднеству плоти и жизни.

Живописец смотрел, и мягкая улыбка скользила по его губам. Новые, еще не собранные, но уже ощутимые образы готовы были воплотиться в сочетаниях красок. И хотя в храме было холодно и сыро, он чувствовал согревающее биение своего сердца.

Петр Алексеевич вышел на крыльцо. Влажный весенний воздух. Сумерки. Талый снег. Обнаженные деревья. И проступающая сквозь пухлые облака луна.

Курил и смотрел, как струйка дыма таяла в вечернем воздухе. За эти два дня он устал от приемов городских властей, попов и обедов.

От комнат низеньких, с теплыми голландскими печами, от давящей обстановки чинно расставленных парадных стульев, пузатых кофейников и вышитых салфеточек с цветным нерусским узором, тоска становилась еще сильнее. Даже присутствие больной жены, ее разговоры с хозяйкой дома, старой голландкой едовой Гоутман, раздражали.

Сердце билось неровно, прерывистыми ударами. Чувствовал, что нижняя рубашка влажна от пота. Подумал: «Не помогли Марциальные воды...»

По талому снегу вышагивал солдат в полушубке, со старой алебардой в руке. Царь, взглянув на него, сказал кратко:

— Пошел вон, дурень!

Солдат испуганно поднял алебарду, для чего-то взял ее на плечо и попятился задом.

— Дурак, — сказал царь. — И на солдата не похож, Аника-воин.

Вспомнил, как посетил епископа Павла. Не узнал владыку: оплешивел, поглупел и растолстел. Когда в Петербурге от купели дочь Лизу принимал, был густоволосым, чернявым, веселым. Вздохнул: «На других посмотришь и поймешь, что годы назад не ворочаются».

Трубка зло засипела — кончился табак. Царь выколотил золу и сунул трубку в карман камзола.

На берегу, внизу за обрывом, молодой бабий голос запел: «Эх ты горе, горе горькое». К нему присоединился густой бас. — «Горе горькое»...

Голоса плыли над хмурой седой рекой и были красивы и печальны. «Эх, и тяжело мне, сиротинушке», — поднимался выше женский голос. — «Без родного баятюшки и без матушки», — вторил ей бас.

— Хорошо поют на Севере, — проговорил царь.

Совсем близко прохлюпали шаги. Прохлюпали и остановились.

— Ваше величество, — послышался тихий голос.

Царь, не удивляясь, спросил:

— Кто пустил?

— С берега реки до вашего величества пробрался. С городу-то охрана стоит.

— Это ты, живописец?

— Я, — прозвучало в ответ, и просяще: — К вашей милости государевой!

Передохнул и жарким шепотом:

— Червь и прах — перед лицом вашего величества, червь и прах.

На царя пахнуло запахом вина.

— Но мыслить, государь, с измальства приучен, а окрест меня одни каменья, хоть голову расшиби — не поймут.

— Чего просишь? — царский голос был суров.

— Правды взыскую!

— Какой? И где ее предел?

— Несть предела! Правда конца и начала не имеет — всевечна она.

Царь засмеялся. Смех был колюч и резок.

— На чем правду утверждаешь?

— На претворении жизни!

— А как сие претворяется?

— Ваше величество претворяет ее славными деяниями, а аз недостойный — ремеслом своим. Каждый по своему разуму отечеству служит.

— И претворил?

— По силе своей претворил, а никто и знать про то не хочет. Велегласно смеются, перстами тычут, аки на разбойника. Я, государь, храм расписал Ивана что на Роценье. Душу всю вложил, а одиноким остался.

Царь спросил повелительно:

— Толком скажи, чего надобно?

Человек упал на колени в снег и, тычась головой о каменные ступени, воскликнул:

— Пойдем со мной, государь, в храм, недалече тут, посмотришь...

И ответил просто царь:

— Пойдем!

За обрывом на реке певцы заканчивали:

...Не сыскать мне, бедному, талант счастья,
Коль на сердце спрятано горе горькое...

И как бы подтверждая это, мужской голос уронил:

«Горе горькое...»

* * *

Долго будили в сторожке дьячка. Старик после все-нощной спал крепко и проснулся нехотя. Надел стоптанные валенки, накинул подрясник на исподнее.

— Иисусе Христе, — зевая проговорил он, высываясь за дверь. Увидел солдата с алебардой, за солдатом стоял живописец и рядом с ним исполинская фигура в меховом плаще и военной треуголке.

— Чего надо? — грубо спросил дьячок.

Но когда солдат цыкнул на него, старик оробел:

— Прости, Христа ради.

Живописец подошел ближе и тихо на ухо дьячку:

— Государь тут. Бери ключ и отворяй храм.

Дьячок, взглянув на высокую фигуру, стремительно бросился в сторожку за ключом.

— Господи, — шептал он, разыскивая ключ, — Господи! Спаси!

Через несколько минут тяжелая церковная дверь растворилась, и царь вошел в мрак, сырость и холод каменного здания.

Дьячок высек огонь, затеплил огарок и от него стал зажигать лампадки. И по мере того, как свет распространялся по храму, оживали, переливаясь, краски на стенах.

— Сим утверждаю! — дрожащим голосом сказал живописец, указывая рукой на фрески.

— Утверждаешь правду жизни? — спросил царь.

Он стоял высокий, не снимая треуголки. Лицо было недовольно, обрюзгло, и темные, с желтизной глаза смотрели поверх головы живописца.

Маняще улыбалась Саломея. Фонтан крови из усеченной главы Крестителя радостно вздымался кверху. Трубили в серебряные трубы попирающие облака архангелы. Пел «Песню песней» Соломон, и грациозные львицы простирались у его ног.

Зажженные паникадила, колеблясь от сквозняка, двигали фигуры на стенах, и, оживленные в гармонии красок, они кружились перед взором царя, а сверху, с купола, смотрел на них Саваоф и удивлялся.

Царь поднял голову и, взглянув на лик Саваофа, усмехнулся:

— Зело отменно!

Смех отдался в сводах и возвратился обратно.

— Проглядели, кудлатые, — уже спокойно произнес Петр.

Живописец замороженно смотрел на царя. Его лицо, озаренное светом лампад, было встревожено и полно ожидания.

— Тако выдумать, надо голову иметь! — сказал Петр. Достал из кармана трубку, набил табаком. Прикурил от свечки, что держал дьячок. Тот зашипел от негодования, мелким крестом осенил грудь. Государь прошел в алтарь.

— Дед! — крикнул оттуда неожиданно озорным голосом. — Тащи огня!

Дьячок, творя молитву и озлобленно поглядывая по сторонам, исполнил приказ.

Семь свечей вспыхнули желтоватым блеском и отразились таким же блеском в зрачках у государя.

В алтаре, как и в храме, радостно утверждала жизнь певучая гамма неумирающих красок. Перед взором царя плясали пророки, великомученики и просто мученики. И царь снова сказал:

— Зело отменно!

Табачный дым, густой и терпкий, плыл из алтаря. Дьячок крестился и фырчал.

— Подойди, малый, — сказал Петр живописцу.

Живописец, трепеща, подошел.

Царь быстро взял его за плечо своей сильной рукой и улыбнулся.

— Готовься, — сказал, — поутру в Москву, а оттуда в Санкт-Петербург поедем. Будешь у меня парсуны писать и первого Данилыча изобразишь, чтоб плясал, как та девка на стене.

Еще раз затянулся дымом и, гремя шпорами, вышел из алтаря. Живописец едва попевал за ним.

На пороге притвора царь остановился, снова оглядел стены и весело проговорил:

— Правду молвил, здоров ты, парень, жизнь утверждать!

Луна смотрела из-за облаков. Спокойно спали приземистые домики, хлюпал снег под ногами.

* * *

Царь, ложась спать, сказал Екатерине:

— Знаешь, Катя, где я был? — На немой вопрос жены ответил: — Веселым святым молился. Един тут, человек, живописец, великую мне милость оказал, великую: при всякой препозиции должно жизнь утверждать, должно!

Замолчал, посуровел.

— И покуда в груди моей сердце бьется — истину утверждать буду, Катя!

— Спи, Петруша, — сонно молвила Екатерина.

В соседней комнате на затейливых часах выскочила маленькая серебряная кукушка и кокетливо прокуковала двенадцать часов.

А живописец шел домой. Он жил на том берегу реки.

Луна то скрывалась, то снова показывала свой лик. Шлемовидные луковицы Софийского собора освещались дрожащим лунным светом.

Живописцу надо было пройти по деревянному мосту, а он не видел дороги. Питербурх, столица, новый парадиз стояли перед его взором. В ушах звенел голос царя: «Зело отменно!» Сердцу было тесно в груди, и живописец закричал:

— Зело отменно!

Мятущийся крик его вырвался на простор мартовской блеклой ночи, и не было уже дороги. Живописец, размахивая руками, бежал вниз по снежному косоугору. К реке. Лед местами потрескался.

У самого берега была прорубь, в которой бабы по утрам полоскали домотканое белье.

— Зело отменно! — победно прозвенел голос, и живописец вдруг почувствовал толчок, потерял равновесие. Пронизывающий холод охватил его крепкими объятиями. В последний миг, когда тело очутилось подо льдом, сердце дернулось порывисто сильным ударом, дернулось и остановилось...

Большая ворона опустилась на лед. Внимание ее привлек черный предмет, лежавший у проруби. Кособоко подпрыгивая, ворона приблизилась к нему. Скосила глаз и клюнула, затем досадливо каркнула и, тяжело взмахнув крыльями, полетела по направлению к собору.

У проруби осталась лежать смешная треуголка с обмякшими краями.



ПАРАДИЗ

Т О ЛИ с непогоды, то ли с тоски — знобило. Все большое несуразное тело с длинными ногами, тощими в икрах, казалось лишним и ненужным.

В новом Зимнем дворце дуло изо всех щелей*). Сам следил, чтобы строили на совесть, да разве за жуликами усмотришь?!

За окном был парадиз, по-русски — земной рай, созданный на костях, на поте, на крови.

Дождь. Ветер. Свинцовые волны... И тоска.

Россия. Отчина деда. Отечество, выстрадавшее кровью сердца и неустанной тяжелой работой. Да, работой! Ни часу, ни единого мгновения не переставал думать о ней. Кажись, скажи господь — шкуру свою не пожалел бы. Ремни дал бы резать. Дал бы! С превеликой радостью, ежели бы знал, что приумножат наследники славу и достояние России.

*) В 1721 году у Зимней канавки был построен второй Зимний дворец (первый — в 1711 году), выходивший фасадом на Неву. Дворец — небольших размеров, имел высокую крышу и украшенный пилястрами фасад. В этом дворце 28 января 1725 года скончался Петр I. Нынешний Зимний дворец (архитектор Растрелли) — шестой по счету.

Взвонял. Скрипнул зубами. Поднялся и подошел к столу. Налил в оловянную чарку из зеленой бутылки водку. Выпил. С блюдца пальцами взял кислой капусты. Пожевал и выплюнул на пол — вкуса не почувствовал. Темнело. Дождь усиливался. Лохматые волны ходили по Неве.

Прислонился лбом к стеклу: «Мой город. Ах, какой он! Даже теперь — в дождь, ветер, в бурю, в грязь — люблю его. Думали ль прежние государи и толстозадые бояре, сидя в душной Грановитой палате, мечтали ль тугоумные, что вот здесь в Чухляндии с гордым дерзанием российские корабли в заморские страны пойдут? От сей еретической мысли карачун бы их хватил! Сиречь лишение языка. Ах, Питербурх, Питербурх! Парадиз мой милый! На кого я тебя оставляю, на кого?»

Сжал кулаки. Задышал дерзко, порывисто, стекло аж запотело. «Наследника подлинного, восприемника прожектов моих нету. Внучонок млад еще. Кто же? Одни гусыни да рабы души. Почто с лишком пять десятков лет прожил? Почто государство устраивал?» — И закричал: — «Почто тебя создал?!»

Вспомнил, как недавно, когда из Петрозаводска через Вологду проезжал, на подворье голландца Гоутмана к нему приходил изограф, мастер живописного цеха, что храм Предтечи диковинными картинами расписал. Сам видел сие художество.

Петр поморщил лоб, припоминая слова живописца. Выпивши тогда был человек для храбрости. А ликом зело приятен — глаза серые, не дурацкие. Волосы белесые, с кудрецей. Одет сей молодец был в коричневую куртку сукна дерьмового. Треуголка мышам на смех — с обвисшими краями. Даже улыбнулся царь, представив фигуру живописца.

— «Чего просишь?» — спросил его тогда. — «Правды взыскую», — ответил тот.

Разговор у них получился сугубо философический — о претворении правды. Живописец говорил, что Петр сие претворяет славными деяньями своими, а он, недостойный, ремеслом своим, а про то никто и знать не хочет и перстами тычут, аки на разбойника.

— Аки на разбойника! — вслух сказал Петр: — Тако и выходит, ибо не всякому дано зрячим быть!

И как бы прозрение нашло, как бы оглянулся на все пройденное и спросил себя:

— Пошел бы вспять по проторенной дорожке отцов-государей, по старому боярскому укладу, чтобы кондовое, бородатое, дремучее, вшивое царство лежало смердом распластанным у ножек его государевых, чтоб в гриднице от духа лампадного и мерцания свечек перед золочеными киотами в смиренной гордости пребывать? Нет, отрицаюсь. Пусть весь в крови, ни единого из дел моих не страшусь и на суде господнем нелицеприятному судье и всем его архангелам, сколь их ни на есть, скажу: все, что ни творил страшного, не для себя делал. Ни единой кровинки для себя не пролил, а за Россию и моря крови не жалко.

В соседней комнате осторожные шаги. Приглушенный кашель и шепот. За окном ветер, Нева. Шторм. Подумал: «Плохо в такую погоду на море... плохо... А мне хорошо? Хорошо мне?»

Присел на стул. Из кисета достал щепоть черного крупной резки табаку голландского — набил коротенькую трубку. Крикнул: — Эй, кто там? — И как только крикнул, в кабинет вбежало сразу двое: денщик Митрохин и дежурный поручик Скуряттов.

— Огня, — приказал.

Когда внесли свечи и Петр закурил, крепкий запах табака распространился по комнате. Митрохин срывающимся голосом доложил:

— Беда, государь! Из адмиралтейств-коллегии рапорт: на Лахте матросы тонут...

— Ботфорты и теплый камзол!

Усталости как не бывало.

Вбежала Екатерина Алексеевна, простоволосая, в наспех накинутой шали на голые плечи:

— Петенька, да куда же? Не пущу, болен ты...

Досадливо передернул плечами.

— Не мешай, Катя, слышала — матросы тонут!

— Да без тебя управятся, Петенька, чать поди распорядились...

Перекосил лицо, задергал левым глазом и в яростном гневе грохнул:

— Молчать!

Катерина Алексеевна так и присела, а у остальных дух захватило. Как тут перечить?

Второпах разорвал камзол, треуголку косо на волосы надвинул и в ботфортах, гремя шпорами, несуразный, страшный загрохотал по комнатам так, что половицы задрожали.

На Неве вздымались свинцовые волны. Низко спустилось хмурое небо. А он, сидя на руле, осипше кричал:

— Сгною, мерзавцы! Так держать!

Тяжесть от головы отвалилась. Кругом бушевал шторм. А его одолевала только одна дума: как бы ловчее подплыть к утопающим.

Словно сбросил двадцать лет с плеч, помолодел и пил леденящий ветер, как анисовку. Глотал всей грудью.

Хватал людей за волосы, втаскивая в бот, и кричал:

— Веселей, молодцы, веселей! *).

Когда те, кого можно было спасти, были спасены, и он, весь мокрый, запарившийся, тяжело дышащий, правил обратно к пристани, вдруг почувствовал: это в последний раз. Всю жизнь в предчувствия не верил, над колдунами и знахарями смеялся. а тут поверил, и тело сразу обмякло, постарело, опустилось. Стало холодно и захотелось на лежанку, в теплоту, в забытье, в детство.

Не помнил уже, как попал в постель, как раздели, как нагирали водкой и водку же вливали в рот. Ничего не помнил, хотел только одного, чтобы поскорей унялась лихорадка и можно было заснуть. А потом словно провалился в пустоту.

Лежал. Черные мокрые волосы разметались по подушке. Искривленный рот полуоткрыт. И даже в пустоте, и даже в провале чувств, когда Екатерина подошла к нему, чтобы пощупать лоб, прошептал:

— Любимый мой, рай мой...

Екатерине сделалось страшно. Она окликнула его:

— Чего ты, Петруша? Кого ты зовешь?

Он открыл глаза. Посмотрел на нее, но не увидел и опять настойчиво ясным шепотом:

— Питербурх!

*) В Вологодском Петровском домике, где среди экспонатов находятся подлинные петровские вещи, имеется живописная копия с картины художника Штейбена «Петр спасает утопающих».



ГОСУДАРЕВ ГНЕВ

ОСЕНЬ в купеческой Вологде была предождливой: глина расплзлась под сапогами и чавкала.

В летнем царском деревянном дворце*) в узких окошечках еле мерцал свет. В домашнем храме звонили в малый колокол. Звон колокола казался жалобным и хриплым.

На воде у «Известной» (известковой) горы стояли баржи, а на самой середине реки на утлой плоскодонке рыбак, накрывшись поверх зипуна рогожей, безнадежно закидывал рваный невод.

Стрельцы в алых кафтанах, с алебардами в руках, дежурившие у государева крыльца, от холодного пронизывающего ветра нахохлились, мечтая о чарке водки и подовых постных пирогах.

Шел дождь.

Работные люди, испозгав в грязи порты, уминая лаптями скользкий настил мостовой, подвозили на тачках к городской крепости известь и песок. Крепость перекошенным четырехугольником опоясывала город.

*) Дворец был построен на том месте, где теперь находится здание педагогического института по ул. Маяковского.

Стены укрепления тянулись более чем на тысячу двести сажен, а тридцать две башни следили за конным и пешим, приближавшимся к крепости. На башнях ходили стрельцы, вооруженные пищалями. Денно и ночью перекликалась башня с башней: «Славен Великий Устюг!», «Славен град Вологда!», «Славен град Москва!»

В Гостином дворе, в купеческих лавках и на складах товару всякого — и своего и заморского — не перечесть. Богатая была Вологда. Недаром взял ее государь Иван Васильевич в опричные города и «возлюбил, аки перл драгоценный».

В этот осенний день утопавший в непролазной грязи город был непригляден и хмур. Хмур был и царь всея Руси Иван Васильевич Грозный. В окружении опричников в их мрачной черной одежде он вышел на крыльцо и молвил:

— Мерзость запустения!

Грозному было тогда около сорока лет. Осанистый, с выразительными властными глазами, он выглядел старше. Лицо было изборождено морщинами, а борода уже покрылась сединой. Царь был в темном кафтане, а на голове плотно сидела сафьяновая, отороченная собольим мехом шапка. Рука его опиралась на тяжелый с острым наконечником посох.

Вчера вечером приближенный дьяк Василий Щелкалов*) доложил Грозному секретные грамоты из Новгорода Великого. В них сообщалось, что многие новгородские бояре и архиепископ Пимен принимали значных псковичей и разговор шел об измене Москве и о переходе на сторону литовского короля, и якобы в этом деле замешан был ближайший опричник князь Афанасий Вяземский**). Афанасий три дня назад приехал в Вологду из Новгорода, куда был послан для набора ратников. Теперь Иван Васильевич нарочно не показывал виду, что знает о его измене и, повернувшись к нему, сказал:

*) Щелкалов В. Я. с 1569 года находился при Грозном, Талантливый и умный царедворец, он пользовался безграничным доверием Ивана Васильевича.

***) Вяземский Афанасий отличался невероятной жестокостью. Позднее по новгородскому делу и был казнен. Карательный поход на Новгород и Псков состоялся летом 1570 года.

— Афанасюшка! Пойдешь со мной, Василием Яковлевичем и владыкой Антонием*) в собор.

Пронзительно поглядел на остальных:

— Коли хотите, и вы ступайте.

Пятиглавый Софийский собор даже в такой пасмурный день был светел и величав. Царь щедро, не жалея казны, заботился о его постройке. Хотелось Ивану Васильевичу, чтобы Софийский собор был украшением его царства, чтобы затмил он новгородскую Софию, чтобы выглядел не хуже Московского Успенского собора.

Со своими закомарными перекрытиями, строгими узкими окнами и большими входными порталами вологодская София была подобна чуду.

Стрельцы подкладывали под царские ноги доски, чтобы не замарал пресветлый царь зеленые сапожки. У храма толпились старики-каменщики в коричневых армяках. При виде Грозного они сбросили с лохматых голов заячьи треухи и низко поклонились. Иван с ними поздоровался. В ответ пронеслось:

— И ты будь здоров, царь-государь!

Крестясь, вошел Грозный в сырость каменного собора, где, несмотря на зажженные восковые свечи, был полумрак. Стены еще не покрыты росписью, и епископ Антоний громко молвил:

— Как прикажешь, великий государь, из Устюга или Ярославля изографов звать?

Царь сдвинул брови:

— Ты архиерей, тебе и решать!**)

И вдруг кусочек кирпича оторвался от свода и упал на царскую голову. Он был очень маленький, но так как голова у Ивана Васильевича была обрита и удар был неожиданным, царь вскрикнул. Ему показалось, что это сделано с умыслом.

— Смерды! — стукнул он посохом по земле. — Разорить к утру соборную постройку, чтобы камня на камне не осталось!

— Не волнуйся, великий государь, — вкрадчиво сказал Афанасий Вяземский. — Твой указ самолично

*) Антоний — епископ Вологодский и Великопермский (похоронен в Софийском соборе).

***) Стены Софии были расписаны много позднее (1688 г.) ярославскими мастерами, артелью Д. Плеханова.

догляжу, а каменщиков, что верхнюю кладку клали, — в мешок и в реку, пускай вологодских ершей кормят!

— Хорошо, князюшка, — зло засмеялся царь. — Кому на роду написано — вологодских ершей, а кому — в Волкове новгородских щук кормить. Чуешь, Афанасий?

Вяземский побледнел.

Вологодский губной староста, двое зодчих и епископ Антоний упали на колени:

— Смилуйся, государь, смилуйся, пожалей нас, верных твоих сирот, не вели храм зорить!

Долго кланялись в ноги царю, умоляя и усовещая его. Наконец Иван Васильевич несколько поуспокоился. Ему и самому стало жалко такой дорогой постройки. Вспомнил, что надо торопиться в Москву, а оттуда в Новгород — бояр новгородских да владыку судить за измену страшную. Сказал:

— Ин быть по вашему, но до моего повеления соборную церковь не освящать.

Взглянул на Вяземского:

— Со мной поедешь в Новгород. — И вышел мрачный из собора. Велел подать коня. Помчался крепость осматривать, пугая по дороге встречных и поперечных. А после обеда и молебствия выехал в крытом возке из города, посадив рядом с собой Щелкалова*).

Окруженный опричниками и верховыми стрельцами, царский поезд навсегда покинул Вологду. Афанасий Вяземский ехал в одиночестве, но под бдительным приглядом стрелецкого сотника.

Грозный сидел в возке насупившись. У ближней вологодской деревеньки спросил Щелкалова:

— А что, Яковлевич, жаль бы тебе было Софии?

— Жаль, государь, — ответил дьяк, — красота-то какая!

Накрапывал дождь. Возок государев трясло на ухабах. Стрельцы зажгли смоляные факелы, и в сгустившихся сумерках свет их был зловец.

*) Этот неожиданный отъезд Грозного послужил темой известной народной песни, записанной в Вологде в 1841 году профессором М. П. Погодиным.



ЦАРЕВНА КСЕНИЯ

У ЦАРЕВНЫ Ксении были длинные черные косы и легкая скользящая походка. Она обладала красивым грудным голосом и сочиняла печальные песни. В семнадцать лет судьба нанесла царевне первый болезненный удар: ее жених, юный заморский королевич, умер перед самым бракосочетанием в Москве. Через два года она оплакивала неожиданную смерть своего отца — царя Бориса. А вскоре изменники-бояре удушили царицу-мать и брата — наследника престола.

Ксения, бледная, почти без сознания, видела, как топтали сапогами царевича Федора и как в последний миг он выплюнул кровью имя сестры — ее имя. Она долго не забудет, как с грубыми площадными шутками кружились вокруг нее пьяные убийцы. Но все же ее не убили. Она осталась жить для того, чтобы приехавший рыжий, приземистый, с бородавкой на носу человек, называвший себя сыном Грозного — Дмитрием, царем московским, приказал привести ее в свою опочивальню.

...Утром, обессиленная, с распущенными косами, она сидела в своем тереме и пела:

Ино боже, спас милосердой!
За что наше царство погибло,
За батюшковое ли согрешение,
За матушкино ли немоленье?

Снова и снова приходил рыжий самозванец, смеялся, бряцал серебряными шпорами и саблей и заставлял царевну танцевать с ним мазурку.

Сенные девушки, расчесывая длинные царевнины косы, плача, рассказывали о бесчинствах ляхов в Кремле и Белом городе. Девушки пели протяжные русские песни, и Ксения чувствовала некоторое успокоение.

Однажды ко лже-царю пришло витиеватое послание вельможного пана Мнишек. При встрече Димитрий сказал Ксении:

— Моя любезная панна-племянница, тебе придется на время уехать из Москвы, но я тебя не забуду и скоро верну обратно.

Он засмеялся и обнял царевну. Та вырвалась из его объятий и хлестко ударила Димитрия по щеке.

Больше она его не видела. Ее везли в закрытом возке на Вологду, к Сиверскому озеру, в край вечно зеленых сосен и тонких, как невесты, березок. В глухом монастыре*), под печальный перезвон колоколов на нее надели черную мантию, дав новое иноческое имя — Ольга.

Она сидела в маленькой душевной келье, где пахло лампадным маслом, смотрела в оконце на монастырский сад и тоскливо пела о своей погибшей молодости:

После царского нашего житья,
После батюшкова представления,
А света Бориса Годунова...

Царевна вскоре узнала, что в Москве самозванца прикончили во время восстания в Кремле.

На московский престол взошел боярский царь, хитрый, честолюбивый старик Василий Иванович Шуй-

*) Бывший Горицкий монастырь (Кирилловский район, Вологодской области).

ский. Он приказал перевезти прах Годуновых, зарытых, как собаки, на окраине Москвы, в Троице-Сергиевскую лавру и вернул из монастыря царевну Ксению.

Шуйский ласково принял Ксению. Предложил ей жить в Москве, но она отпросилась в лавру, поближе к дорогим могилам.

В лавре царевна вышивала серебром и жемчугом, молилась, сочиняла протяжные песни. Она полюбила запущенный монастырский сад, и богомольцы часто видели стройную фигуру в черном полумонашеском одеянии, медленно расхаживающую по садовым дорожкам.

Монахи не тревожили царевну, и только изредка из Москвы к ней приезжали царские посланцы, привозили скромные подарки от царя и царицы, спрашивались о здоровье и уезжали.

Вместе с лаврой Ксении пришлось пережить долгую и героическую осаду. В 1608 году отряды тушинского самозванца под командой панов Сапеги и Лисовского обложили плотным кольцом монастырь, подвезли артиллерию и начали осаду.

Пан Сапега считался отличным воином. Он употребил все средства, весь полководческий талант, чтоб овладеть монастырем. Несколько раз войска бросались на приступ. Но монастырские стрельцы, крестьяне и монахи всегда отражали натиск.

Ни подкопы, ни ядра, ни голод не смогли сломить мужества русских людей. В эти грозные и томительные дни Ксения преобразилась. Она видела раненых, умирающих и убитых защитников лавры. Ее келья содрогалась от разрывов картечи.

Ксения перестала страдать от своих воспоминаний. Теперь было лишь одно: безмерная неугасимая любовь к защитникам крепости.

С утра она уходила на стены. Научилась перевязывать раны. Воины с благодарностью благословляли ее.

Ксении было тяжело. Иногда ей казалось, что на следующий день она не сможет встать, но, просыпаясь ранним утром, наскоро молилась и шла туда, где гремели выстрелы и где измученные русские люди в мужицких сермягах, рясах и красных стрелецких кафтанах обретали бессмертие.

Однажды в скучный октябрьский день, когда по небу ходили свинцовые тучи и накрапывал мелкий надоедливый дождь, царевна почувствовала тяжесть в ногах и сильную головную боль. С трудом дошла до своей кельи, легла на жесткое ложе. Раздеться не было сил.

Видела, как келья наполнилась красноватым светом. Свет сгущался, становился осязаемым. Он был похож на адское пламя росписи страшного суда. Пламя проникало через веки. Она ощущала его на лице. Сквозь огонь к ней протянулись руки, длинные цепкие руки с синими ногтями. К ее лицу склонилась огромная голова с рыжими всклокоченными волосами и бородавкой на носу. Ксения хотела оттолкнуть голову, но не смогла. Она потеряла сознание. Это было началом тифозной горячки.

За Ксенией ухаживала жена стрелецкого сотника. Царевна билась головой о каменные стены и кричала от страшных видений. Пришлось ее связать...

Когда царевна встала после болезни, врагов уже не было. Стояла ранняя весна. В монастырском саду пахло липой и яблонями. Небо было голубым и прозрачным.

Ксения села на свою любимую скамью. Долго смотрела, как будто в первый раз видела небо, и зелень, и голубей, и старого стрельца с грязной повязкой на голове, стоявшего на валу. Она охватила все это жадным взором и вдруг заплакала от переполнившего ее сердце счастья жизни.



ВОЕВОДА ПЛЕЩЕЕВ

В СЕМНАДЦАТОМ столетии Вологда считалась одним из наиболее богатых центров Московского государства. Раны, нанесенные городу во время польско-литовско-шведской интервенции, благодаря его выгодному торговому положению, были довольно быстро залечены. Здесь насчитывалось несколько десятков дворов русского и иностранного купечества, много монастырских подворий и церквей, торговых лавок, около 1200 домов посадских людей.

Положение посадских, несмотря на кажущееся процветание торговли, было тяжелым. Писцовая книга 1627 года указывает, что «злодейские» налоги и поборы привели к тому, что 238 дворов «обезлюдели».

Иноземцы, свои бояре и воеводы в определенные сроки стригли горожан, как овец, стригли с шутками-прибаутками. Вологодский же воевода, боярин из знатной московской фамилии Леонтий Степанович Плещеев грабил своих пасомых в любое время года, грабил зло и бессовестно. Купцы и монастыри еще крепилась, но посадские совсем были разорены. Они даже неоднократно жаловались в Москву на «великие насильства» Плещеева.

«Посадские людишки» — мелкие лавочники, ремесленники — писали: «Мы от его воеводского само-

управства и злого умысла живем по своим дворам в запорах, в великом страхе и на торг выходить по своим промыслишкам не смеем».

О боярине Плещееве, любимце царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, историк того времени Олеарий говорил: «Сей Плещеев без меры драл и скоблил кожу с простого народа, подарками не насыщался, но егда тяжущиеся приходили к нему, то он высасывал у них мозг из костей до того, что обе стороны в нищих превращались».

Таков был глава и хозяин Вологды. Посадские и крестьяне окрестных деревень ненавидели воеводу. Даже служилые люди — дьяки, подьячие, хожалые и другие не жаловали боярина, так как последний приказывал «делиться» доходами с ним, а тех, которые старались обходить его, жестоко наказывал. В одной из челобитных в Земский приказ мы читаем: «Боярин дьяка бил и бороду драл и из съезжей избы выгнал».

Новые налоги все больше и больше отягощали простой люд. Тут были и «посошные», и «оброчные», и «соляные», и «запросные» обложения. Не случайно списки «беглых» в воеводской канцелярии росли из года в год.

Не один раз кланялись в челобитных вологжане царю Михаилу Федоровичу Романову, дабы убрал куда-нибудь в другое место боярина-воеводу, чтобы чего «худова» не получилось. И действительно, «худое» произошло.

Леонтий Плещеев, человек гневный, узнав от своих сыщиков о том, что среди посадских и окрестных крестьян зреет недовольство его правлением, решил наказать жителей. В 1632 году Вологда погорела. Причину пожара летописец определяет так: «Воевода Леонтий Плещеев град Вологду пожог, кроме посадов дальних».

Пожар причинил городу много убытков. Особенно пострадали посадские. Казна же оказывала скудную помощь бедным погорельцам и в то же время щедро помогала богатым.

Вскоре воевода Плещеев, опасаясь гнева посадских людей, уехал из Вологды.

Закончилась его карьера в Москве. Здесь Плещеев исполнял обязанности судьи Земского приказа (министра юстиции). Его мздоимство было настолько велико, что москвичи возненавидели боярина. Будучи правой рукой царского фаворита боярина Бориса Ивановича Морозова, Плещеев никого не боялся.

Наконец народное терпение лопнуло, и в Москве в июне 1648 года произошло восстание. Во время крестного хода толпы народа окружили царя Алексея Михайловича и потребовали немедленной выдачи им для казни Морозова, Плещеева, Чистова и прочих «казнокрадов и мучителей».

Напрасно испуганный царь посулами стремился сохранить жизнь боярам. Он даже плакал и кланялся народу.

— Не отдашь Леонтия и прочих лихоимцев добром — возьмем силой, — кричали в толпе царю. — Весь дворец разроем, а Леонтия откапавем!

Приближенные царя сами вытолкнули Плещеева. Народ не дал ему дойти до лобного места. Леонтия убили по дороге.

Несколько дней Москва была во власти народа, который вымещал свои обиды ненавистным боярам и дьякам.



КАЗНЬ КРЕСТЬЯНКИ

ПРОСМАТРИВАЯ документы седой старины, видишь за строчками древнерусского витиеватого письма, в каких неимоверно трудных условиях жил народ, каким диким истязаниям подвергали его царские чиновники.

Расскажем об одном таком варварском случае, когда по недоказанному оговору в убийстве мужа была приговорена к страшной казни молодая крестьянка Агрепенка — крепостная Корнильева монастыря Вологодской епархии. Явная несправедливость и жестокость казни вызвала возмущение среди посадских людей — жителей Вологды.

В декабре 1659 года на лобном месте была зарыта в яму, «окопана» по грудь крестьянка Агрепенка. На улице стоял «мраз хладный». Казнь совершалась в присутствии земского и губного старост: Кузьмы Панова и Матвея Данилова.

Толпа горожан ругала стрельцов, жалела крестьянку. Падали с тяжелым звоном медные гроши и копейки в деревянную чашку, стоящую рядом с казнимой, «на обряд похоронный».

Вот и «окопана» на смерть Агрепенка. Утоптан снег валенками стрельцов. Только видно посиневшее от холода и муки молодое женское лицо.

Шли часы. Смеркалось. Толпа заволновалась:

— Идем к архиерею Маркелу! Его монастырская крестьянка! Должен освободить.

При свете смоляных факелов старичок-писарь стал составлять челобитную на имя царя...

В церкви шло позднее служение. Архиепископ вологодский и белозерский Маркел высок ростом, лицо пергаментное, борода черная с проседью. На нем — теплая атласная ряса. На груди — золотая панагия.

Толпа посадских ворвалась в храм, окружила возвышение, на котором стоял Маркел.

— Прикажи, владыко, женку от лютой казни освободить! — и писарек дерзко сунул в руки, перебиравшие янтарные четки, грязную, в саже, челобитную.

Маркелу не хотелось прекращать казнь. Нельзя потакать, и так распустился народ после «медного» и «соляного» бунтов... Нельзя!

— Братья! — сказал смиренно. — Не мешайте службе нашей!

— Ослободи! — закричали люди, и в церковных сводах их голоса отозвались грозным эхом.

Маркелу пришлось дать распоряжение откопать женку. Толпа бросилась к лобному месту. Бережно откопали Агрепенку, положили на овчинный полушубок, кто-то влил ей в рот глоток водки, кто-то растирал снегом ооченевшее тело. Затем перенесли ее в новое помещение судного приказа.

Было это уже в третьем часу ночи... А под утро Маркел писал в Москву своему покровителю-боярину Г. А. Репнину о том, как пришли к нему в церковь староста «со многим народом, принесли челобитную за многими руками, чтоб до указу тою женку из земли живу раскопать». Подлинность этого исторического события подтверждается письмом Маркела Репнину и челобитной вологжан царю.

Пробыла в «яме смертной» Агрепенка около двенадцати часов. Вряд ли бедная женщина осталась жива после этого испытания.

Таков был в Вологде суд царский и архиерейский.



ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ

МЕНЯ давно интересовал этот старинный портрет «неизвестной» конца XVII — начала XVIII века в экспозиции Вологодского краеведческого музея. Такие портреты маслом на холсте, наклеенном на доску, «парсуны» попадали в музей в первые годы Советской власти из помещичьих усадеб и упраздненных монастырей.

С портрета смотрит круглолицая красавица с выразительными, чуть-чуть выпуклыми глазами. На плечах — парчовая шубка, отороченная собольим мехом. На голове — шапочка, бывшая в моде при матери царя Петра — Наталии Кирилловне Нарышкиной. И хотя портрет писан в несколько условной манере той эпохи (плоскостный, почти отсутствует воздушная среда), он приковывает внимание. Чем же? То ли удивленно поднятыми вверх тонкими бровями, то ли как-то по-детски сжатыми пухлыми губами. А может, зрителя интересует алмазный знак на груди молодой особы? Ведь такие алмазные знаки жаловались только членам царской фамилии или за исключительные заслуги.

Я беседовал с историками и искусствоведами. Стало ясно, что в этом вопросе, пожалуй, были правы я и покойный известный художник-реставратор

А. И. Брягин, предполагая, что это портрет Авдотьи — Евдокии Федоровны Лопухиной, первой жены царя Петра и последней русской царицы (впоследствии невест для наследников русского престола выбирали из иностранных принцесс. Исключение было сделано Петром только для Екатерины Первой — шведской пленницы Шереметьева).

Судьба Авдотьи Лопухиной примечательна. Она принадлежала к многочисленному бедному «шляхетскому» роду Лопухиных. Царевна-правительница Софья презрительно говорила:

— Авдотья в отцовской деревеньке убогой в лапотках бегала.

Мать Петра — Наталья Кирилловна — нарочно подобрала для сына невесту попроще, чтобы та «из воли не выходила». Авдотья была красива, скромна, обучена грамоте. «Молодешенька» — на шестнадцатом году. Мужа побаивалась. Был Петруша ей непонятен пристрастием к морским и солдатским забавам, дружбой с иностранцами-мастерами из Немецкой слободы, своим «нецарским поведением». Авдотья родила двух мальчиков — один скончался, другой, Алексей, стал наследником престола.

Царь отдал сына на воспитание своей сестре Наталье. Вскоре, убедившись в том, что Авдотья ему не помощница, потребовал от нее пострижения в монахини.

В мае 1699 года Евдокия Федоровна была насильно пострижена в инокини Суздальского монастыря и наречена Еленой. Многочисленную родню Лопухиных разослали по разным городам. Так и попал на Вологодчину, в Тотьму, Ф. А. Лопухин. Не поэтому ли портрет Авдотьи в нашем крае?

Духовенство, недовольное реформами царя-«антихриста», всячески ублажало царицу-монахиню, которая одевалась в обычное, а не монашеское платье. Чтобы еще крепче взять Авдотью в руки, ее познакомили с красавцем и богачом майором Глебовым. Авдотья влюбилась в молодого офицера. Ее письма к нему — это целые любовные поэмы: «Как мне на свете быть без тебя, как живой быть? Никогда ты из разума не выйдешь, любезный друг мой. Носи, сердце мое, мой перстень, а я такой же себе сделала...»

Страстная любовь царицы-инокини испугала майора, а через два года его перевели в другой гарнизон.

«Как мне будет твою любовь забыть, как жить мне без тебя, душа моя...» — восклицала в письме Авдотья.

Удивительно, что в то время тайных доносов и фискальства любовь Лопухиной и Глебова всплыла лишь случайно, через несколько лет, да и то совсем по другому поводу. После казни за измену царевича Алексея искали писем приближенных царевича к Авдотье. И тогда вскрылось и хождение «инокини Елены» в «цветном» платье и ее любовная связь с майором.

Начались кровавые допросы в тайной канцелярии «по суздальскому розыску». На глазах обезумевшей от горя женщины пытали на дыбе Глебова. От Авдотьи потребовали собственноручного признания, что она «блудно жила».

Многие монахи и монахини были биты кнутом и сосланы, но больше всех пострадал Степан Глебов. Царь Петр, как замечают историки, поддался чувству мести. 16 марта 1718 года Глебова казнили страшной казнью — он был посажен на кол.

Авдотью сослали сперва в Ладожский монастырь под «крепкий караул». Разгневанный Петр приказал «днем и ночью вокруг всего монастыря солдатам ходить непрестанно». Затем — в Шлиссельбургскую крепость.

В Москву Авдотью Лопухину допустили с большим почетом при вступлении на престол ее внука — Петра Второго.

Скончалась она в августе 1731 года, пережив мужа, сына и внука.

Вот о чем можно рассказать, глядя на портрет Авдотьи Лопухиной, находящийся в Вологодском краеведческом музее.



ПОВЕСТЬ
○
ВАСИЛИИ
СИРОТИНЕ





ВАСИЛИЙ Сиротин учился в богословском классе Вологодской семинарии, но молва о нем, как «зловредном» поэте, широко распространилась по городу и губернии. Этого высокого семинариста в старом сюртучке, перешитом из отцовского подрясника, в фуражке с оторванным козырьком, с лицом веснушчатым, курносого и с печальными глазами побаивались и в канцелярии губернатора, и у его преосвященства епископа. Сам владыка говорил отцу-ректору семинарии:

— Вы бы, отец архимандрит, сего неисправимого юношу к церковному покаянию склонили бы, а то он на вас сочиняет, что вы — «лихой тиран». Пономарский сын, кутейник, а тоже бессмертия ищет!

Епископ когда-то учился в Московской академии, был не чужд изящной словесности и запомнил переданные ему секретарем консистории стихи семинариста Сиротина. В прологе к поэме «На докладе у Сатаны» поэт восклицал:

Я Данте друг по Аполлону,
Собрать по лире мне Гомер.
Так дайте ж путь мне к Геликону —
Скрывать таланты не манер.

— Поразмыслите, отец Ювеналий, ему «скрывать таланты не манер». Лавры поручика Лермонтова, которого убили на дуэли, не дают покоя нашему бурсаку.

— Что же я могу сделать, владыка, — развел пухлыми руками дородный ректор. — Я уж, кажется, надзирателям велел строго наблюдать за воспитанниками, обыски тайные устраиваем. Вчера у богослова Преображенского Епифания в сундучке нашли переплетенные в корке проповедей «На Дванадцатые праздники» статьи Белинского и Искандера из светских журналов. Ну, сделал отеческое внушение, на поклоны поставил. Ведь не исключать же оканчивающих курс!

— Да, конечно, веянье времени, — владыка перебирал кипарисовые четки, по-старчески шевелил мокрыми губами. — Вы, отец ректор, присматривайте за Сиротиным, а как кончит образование, в глухомань сошлем к зырянам, пусть там на оленях и собаках путешествоует, аки апостол.

И зашелся епископ смехом.

«Чтоб ты окочурился», — зло подумал ректор, смотря на развеселившегося сухого старичка. — Не могу утруждать вашего преосвященства, — поднялся ректор и, получив благословение, ткнулся носом в костлявую руку епископа.

Выйдя из архиерейского подворья, окруженного каменной кремлевской стеной, ректор медленно (была несносная июньская жара) пошел по направлению к собору. Семинарскому кучеру сказал разморенно:

— Езжай, я пешком...

Напротив кремля Софийский собор сверкал пятью огромными луковицами.

София была открыта, и ректор вошел в прохладу каменного храма. Большая во всю стену фреска «Страшного суда» с трубящим в золотую трубу архангелом была чудесна, и ступни ног архангела под белым хитоном попирали облака. Со столпов на человека в черной рясе смотрели князя Владимир Киевский и Александр Невский. Грозно взирала княгиня Ольга.

Кто-то вздохнул рядом. Ректор оглянулся. Там стоял обрюзглый, в сером летнем подряснике соборный протопоп Василий Нордов, любимый семинаристами за либерализм и знание местной истории. Но ученый протопоп магистр богословия не нравился московскому митрополиту Филарету Дроздову, и тот приказал «не давать ходу вологодскому умнику». И был протопоп как бы в опале. Служил в соборе, изыскивал в архиве

материалы по церковной археологии, по вечерам почитывал Плутарха.

Ректор поздоровался.

— Дивно у вас в соборе, отец Василий, благодать. Одно только меня занимает: почему на столпах русские князья в первом круге? Ведь полагается по канону первыми писать греческих святых и апостолов, ибо свет православия мы от греков восприняли?

— Восприняли, восприняли,—буркнул протопоп,— не будьте рабом буквы. Художник правильно изобразил на почетных местах Владимира, Александра, Ольгу. Невместно им, стоятелям за русскую землю, уступать свои права грекам и римлянам.

Чтобы не впасть в ересь, ректор повернул разговор на фреску «Страшного суда».

— Скольким злодеям уготовлен путь во ад!

Нордов загрохотал:

— Ой, уморили, отец Ювеналий, не одни злодеи в ад попадают, а и благочестивые сановники. Вспомните преталантливые строфы поэмы вашего ученика и моего тезки:

«В аду под закоптелым сводом, где жарят грешников в огне!»

— Увольте, Василий Иванович, — взмолился отец Ювеналий. — Я сюда отдохнуть душой пришел, а вы меня Сиротиним угощаете. Я им завтракал у владыки, увольте, не могу больше. Я монах, служу государю и митрополиту Филарету...

При упоминании имени Филарета протопоп нахмурился и, не прощаясь, отошел...

* * *

А виновник всех разговоров семинарист Василий Сиротин сидел на уроке догматического богословия. Слушал преподавателя иеромонаха Нифонта. Разбирался вопрос, кто таков дьявол?

Нифонт приводил мнение блаженного Августина о том, что дьявол — это ангел, восставший против бога и вступивший по своей воле на путь зла.

Сиротин смотрел на преподавателя печально и даже скорбно. Его взгляд мешал Нифонту сосредоточиться.

— Ты что, Сиротин Василий, узоры на мне лице-зрешь? — спросил он язвительно.

Сиротин поднялся со скамейки.

— Выходит, отец иеромонах, что зло есть проявление свободной воли?

Преподаватель покраснел.

— Ты не мудрствуй лукаво, Сиротин, в попы готовишься, а не в философы. В следующий раз поставлю кол за несусветные вопросы. Садись.

— Спасибо, отец Нифонт, вразумили меня грешного.

Послушно сел. В тетрадке нарисовал ангела с ликом иеромонаха, приделал Нифонту на голове закругленные бараньи рога.

Семинарист Петр Предтеченский с удовольствием следил за работой Сиротина. Нифонт получился очень схожим.

Сиротину рисунок нравился. Он принялся детально отделывать его. Затем углубился, придумывая рифму на «барана». Рифма выходила нецензурная. Это забавляло Василия. Он не заметил, как сторож позвонил в колокольчик...

Конец сороковых и начало пятидесятых годов были тяжелыми для воспитанников губернских учебных заведений. В Вологде процветала слежка и за теми, кто жил в пансионах, и за теми, кто снимал частные квартиры. За семинаристами, кроме воспитателей, для поддержания «благочиния» надсматривал блюститель — «класный цензор», назначаемый из доверенных воспитанников. Были еще и так называемые «приоры», следящие за поведением своих товарищей в пансионе. «Приоры» ежедневно доносили инспектору и о тех, кто ругался, кто за обедом шум производил, и о тех, кто много светских книг читал.

Если просмотреть старинные класные журналы духовных училищ, просто диву даешься, какими оценками увеселяли свое воображение отец-ректор и преподаватели: «по греческому языку моракует», «по всем предметам плетет», «по катехизису безуспешен», «потребует побуждения» (т. е. наказания), «разумет подрацкому». И лаконичное — «ленив, туп, нерадив».

Схоластика, иезуитский надзор, издевательство над семинаристами приводили к печальным историям.

Ректор Виссарион доносил семинарскому правлению, что «ученик нижнего отделения Доримедонт Милославов пропал с квартиры, оставив записку, чтобы нигде не искали его живым, он вознамерился утопиться».

В Вологодской семинарии существовали бурсацкие нравы, так ярко описанные Помяловским. Были и драки между «кутейниками» и учениками других городских училищ. Полицмейстер рапортовал губернатору, что им установлено по субботам строгое наблюдение на Плацпарадной площади за семинаристами, «дабы кулачных боев с увечьем не происходило».

Впоследствии отношения между воспитанниками гражданских и духовных училищ сделались миролюбивыми, и часто они совместно выступали против распоряжений начальства. Но это уже относится к шестидесятым годам, когда Вологда была буквально переполнена ссыльными студентами, народниками, либералами, когда идеи Добролюбова, Чернышевского стали достоянием молодежи.

* * *

На Калашной улице, в Заречной части, в доме вдовы-мещанки Варвары Михеевой жила ее племянница сирота Поля. Тетка Варвара держала Полю в страхе божьем. Заставляла ходить в храм, говеть в великий пост и петь по субботам и воскресеньям в церковном хоре. Тетка брала на дом стирку у чиновников. Платили ей гроши, но работы было много.

Поля научилась у знаменитой художницы по кружевам Анфий Федоровны Брянцевой другому мастерству. Маленькие проворные руки быстро и звонко перебирали коклюшки, и под их речитатив расцветали из льняной нити невиданные цветы и небывалые травы.

Поля была рекомендована Анфией Федоровной как отличная кружевница многим дамам дворянского и купеческого сословий. Купчихи заказывали ей подзоры, ее кружевные воротнички из льняной и цветной шелковой нитки особенно привечали барышни с Екатерино-дворянской улицы из старинных особнячков ампирного стиля.

В первых главах Сиротин показывал отделение ада, где мучили грешников. Среди них было много и знакомых всему населению уважаемых сограждан. Фантазия семинариста, знакомого с Данте и церковнославянскими апокрифами, оказалась неистоцимой. Она сверкала, как народный лубок, она мстила искрометной фразой, меткой издевкой. Грешники висели на крючьях по стенам, их пекли в печах, жарили, как баранов, коптили, как поросят, разваривали в котлах, как осетров, вливали в глотку олово, сажали на горячие противни и сковородки. И смотрел на все это сам владыка ада Вельзевул. У трона его подземного величества почтительно толпились черти-министры и черти-сенаторы, а губернские черти докладывали о делах Российской империи.

Сцена эта получилась совсем неплохо, особенно когда Вельзевул, грозно сверкая зелеными глазищами, вопрошал:

— А где Вологодский черт?

И через толпу придворной мелочи пробирается юркий с длинным хвостом черт-вологжанин. Он умен, дипломат и философ. Изящно изогнувшись, виляя хвостом, сообщает, что в Вологде:

Полицмейстер — главный вор
и обжора из обжор.
Доложу: сей молодец —
для полиции отец...
Каждый будочник доволен,
обдирать калашниц волен.

«Конечно, в поэме много еще несовершенного, — думает, ворочаясь на лавке, Василий, — некоторые разделы написаны различными размерами, но ведь иначе он не мог. Ему казалось, что для выражения одной мысли нужен ямб, для другой — хорей, а где и анапест.

Лежал. Вздыхал. Думал. А перед ним стояла, как живая, Поля.

— А что в ней в сущности хорошего? Худенькая, глаза одни да коса льняная. Спать надо. Завтра семинария. Греческие переводы. История православной церкви... А ты — о девице. Стыдно, Василий!

Знакомству молодых людей предшествовали следующие обстоятельства. Отец Сиротина грязовецкий пономарь Иван Степанович по старости выходил «за штат». У его жены Екатерины Петровны, еще крепкой и моложавой, скончался дядя, бездетный вдовец-псаломщик из прихода «Николы-Пенье». Скончался, а перед смертью составил завещание, по которому передавал племяннице хороший дом-пятистенки, денег сто рублей серебром, лошадь, дойную козу и куриную мелочь с пестрым петухом Митькой. А так как у пономаря в Грязовце, кроме разваленной избушки да плохой коровенки, было еще две дочери-подростка, то решили переехать в деревню. На счастье Сиротиных, настоятель Никольской церкви предложил Екатерине Петровне занять вакантное место просвирни. Пономарь письмом попросил сына помочь при переезде.

Новое местожительство родителей понравилось Василию. На взгорье, окруженная полями и лесом, стояла большая деревня. Каменная, недавно побеленная церковь сверкала серебряными главками-луковками.

Заштатный пономарь купил полштофа жгучей сиушной водки и, угощая сына, вспоминал прошлое.

— Да, сынок, род наш во время оно был служилый, издавна стрелецкий, нес охрану Павло-Обнорского монастыря. А после уже переехали Сиротины в Грязовец, что при царице Екатерине сделали уездом. Дедушка твой, мой родитель, стал пономарить в церкви. Ну и аз грешный воспринял его чин. А в старину мы и на Казань при Иване Васильевиче Грозном ходили. Церковными огарками не были.

Впоследствии, когда вице-губернатор на просьбу Василия Сиротина о принятии его в вологодскую канцелярию ответил грубым отказом, то поэт в стихотворном послании к «Господам — вершителям судеб» гордо писал:

«Мой прапрадед под Казанью
Живот свой положил за Русь,
И я по этому сказанью
Породы знаменитой гусь».

Но то было потом, а пока пономарь Иван простился с сыном таким напутствием:

— Ты, Василий, уже семинарию кончаешь. Наше родительское благословение прими и живи своим умом. А нам еще двух дочерей поднимать надо. Теперь уж не ты к нам, не мы к тебе. Получай шесть целкачей — и с богом.

Сын поклонился низко отцу. Благословился у матери. Перецеловал сестер и вышел из родительского дома, перекинув через плечо узелок с провизией и двумя сменами холщового белья.

Нежно желтели березки. Краснели гроздья рябины. На горизонте вырисовывался лес и золотые маковки Павло-Обнорского монастыря. По проселочной дороге вышел семинарист на тракт Ярославль — Вологда. Еще раз взглянул на деревню Николо-Пенье и унес в своем сердце синие купола и тоску родительского благословения.

На два целковых приобрел Василий у знакомого трактирщика почти что неношенный коричневый пиджак. Пиджачок достался тому в заклад от одного чиновника. За рубль в Светлых рядах купил черную сатиновую косоворотку с белыми пуговицами, за рубль же — серые бумажные крепкие брюки.

В воскресное утро перед осколком зеркальца побрился хозяйской тупой бритвой, оделся в чистое и пошел в церковь с твердым намерением подождать после службы Полю.

Волновался. А что если Аполлинария не захочет с ним знакомиться? Да и слава-то у него, Василия, подмоченная.

Полин голос звучал трогательно и отдавался в мозгу Василия.

Сердце под новой сатиновой рубашкой билось то громко, то вдруг замирало, и тогда семинаристу делалось мутно.

Все почему-то думалось о важном чиновнике, пожимавшем Поле руку. Да тут еще росписи на это намеки давали: храм Дмитриевский был украшен в начале восемнадцатого века. Молодой профессор Николай Иванович Суворов*) рассказывал семинаристам, что краски автора фресок сильны и свежи. Отдавая

*) Суворов Н. И. (1816—1896 гг.) — профессор семинарии, известный археолог и историк.

предпочтение монументальным софийским росписям, профессор обращал внимание на два сюжета фресок: о Сусанне и старцах. На одной — трое старцев с вожделением глядят на купающуюся девицу, жеманно прикрывающую ладонями свои прелести, на другой — родственники Сусанны побивают камнями нечестивых соблазнительей. Камни, как пухлые мячики. Обе фрески, несмотря на трагическое содержание, были веселыми. Испуганные старцы казались комичными, а сама девица будто бы довольна приключением, разнообразившим скуку маленького иудейского селения.

Взор Сиротина невольно обращался к старцам и Сусанне. Новый пиджачок жал под мышками, ворот рубахи резал шею.

Поля вышла из церкви одна. С Дмитриевской набережной свернула на Архангельскую улицу. Сиротин решил. Откашлялся.

— Прощу прощения. Несколько слов с вами промолвить.

У Поля раковинки ушей заалели.

— Я ваше пенье и соло в хоре слушаю и получаю великое наслажденье.

— Вас я тоже заметила. Вы семинарист?

— Кончающий курс, угадали. А вас звать Аполлинарией? А дальше?

— Петровной.

— Василий Иванович Сиротин. Можно вас проводить?

Кивнула головой.

Шли, не замечая прохожих. У домика тетки Варвары росли две березки. В дверях стояла сама хозяйка, подперев руками бока.

— Тебе, молодец, нечего тут делать.

Хотел Сиротин ответить дерзко, но Поля так посмотрела на него, что он только заложил руки в карманы пиджака и отошел от калитки.

* * *

Матвей Агафонович Вахрамеев — надворный советник и кавалер орденов Станислава третьей, Анны четвертой степени и золотого знака «За беспорочную службу» был зол и завистлив. Злился он на судьбу,

наделившую его невзрачной наружностью, злился на молодых сослуживцев из окончивших гимназию и хватавшихся вольнодумных идей. Злился и на кауферов, не могущих придумать целебную мазь для рощения волос, и еще, приватно, на свою канцелярскую болезнь — геморрой. Злился он и на писателя Гоголя. Как-то взял его рассказы и сразу бросил. Там как раз говорилось о департаментском чиновнике, который цвет лица имел геморроидальный. Больше Гоголя не читал, а когда речь заходила о литераторах, брезгливо ронял: «Все они пакостники».

Был Вахрамеев вдов и лет имел без малого семьдесят. Сын давно отъехал от него в другую губернию, где служил по акцизу. Матвей Агафонович мог бы получить отставку с пенсионом, но предпочел сидеть столоначальником в губернском правлении и иметь ежегодную прибавку за выслугу лет.

Жил Вахрамеев на Дмитриевской набережной в собственном деревянном особняке из двух этажей на каменном фундаменте. В особняке было шесть комнат, изразцовые печи, старинная мебель, на подзеркальниках и в буфете фарфоровые безделушки и хрусталь с Урала. А на стенах висели две хорошие иностранные слеографии с видами венского собора святого Стефана и Тирольских гор. Еще висел овальный портрет его самого в мундире кисти художника Платона Тюрина *). Портрет не очень-то нравился надворному советнику, хотя мундир и шитье выписаны тщательно. Живописец слишком подчеркнул хитрость и елейность Матвея Агафоновича, но придраться не к чему, сходство поразительное.

Вот этому-то старому чиновнику и суждено было сыграть неблагоприятную роль в судьбе поэта Сиротина и кружевницы Поли.

Матвей Агафонович посещал приходский храм Дмитрия Прилуцкого и здесь заметил Полю. Он решил к ней посвататься. Регент хора Мордарий Филиппович, которого Вахрамеев угостил в «Париже», рассказал ему о бедственном положении девушки:

*) Тюрин Платон Семенович (1816—1882 гг.). Художник из крепостных. Портретист. Академик. Умер в бедности в Вологде.

— Тетка Варвара, почтенный Матвей Агафонович, племянницу не балует. Аполлинария у госпожи Брянцевой обхождению научилась.

— Женихов нет?

— Какие там женихи, Матвей Агафонович, сами поймите, нищие, можно сказать! Разве кружевами или стиркой богатство составишь?

— Лет сколько девице?

— Восемнадцать.

— Тебе откроюсь по секрету, Мордарий Филиппович, жениться хочу. Возьми себе на память (он вынул пятирублевую синенькую ассигнацию) да скажи Варваре, что сразу же перед венчанием подпишу гербовую бумагу на дом и землю и еще три тысячи рублей в банк положу и после моей смерти пенсион, как вдове советника и кавалера. Остальные двадцать тысяч сыну и внучатам, а тысячу — слугам Сосипатре и Григорию. Справедливо?

— Справедливо. Пожертвуйте еще красенькую, а после согласия Варвары четвертную.

— Не много ли? — поморщился старик. Однако вынул бумажник и положил перед регентом две синеньких.

* * *

Варвара обрадовалась предложению Вахрамеева.

— Нашелся добрый барин, — лицемерно вздыхала она. — Спасибо вам, батюшка, что для сироты потрудились.

В душе Варвара жалела племянницу, но чем она могла ей помочь? Оставить в наследство гнилой домишко да корчаги с корытом? Кому нужна бесприданница?

Регенту твердо сказала:

— Согласно я, пусть сваху присылает. Девка вся в моей горсти. Мне она крестница и племянница...

Сваха принесла Варваре шерстяной материи на платье и бутылку вишневки, которую тут же и распили. Аполлинарии пока ничего не говорили.

Только в субботу перед приходом жениха на вечернюю чашку чая Варвара сказала:

— Приоденься, Поля, у нас к вечеру жених твой будет.

Поля засмеялась.

— Что это вы, тетушка, женихов сулите?

Варвара серьезно:

— Я тебя, Аполлиария, просватала. Хватит в нищете жить, да и мне пора отдохнуть.

— Не хочу я, тетенька, замуж.

— Разговора тут никакого быть не может. Просватана уж ты.

— Не хочу я.

— Аполлиария, не дури. Жених твой — чиновник Вахрамеев. Богач. Барыней будешь.

— Ой, тетенька, пожалейте. Он гнусавый, плешивый, беззубый. Ой, тетенька!

Заплакала навзрыд.

Варвара была непреклонна.

— Не хочу, — твердила девушка.

— Захочешь.

— Тетенька, пожалейте, не губите!

— Ты, Поля, меня пожалей. Руки мои больные, ноги мои опухшие...

Варвара села на пол, схватила себя за волосы.

— Тетенька, чего это вы? Да разве я не понимаю?

Поля обняла тетку, тоже опустилась на пол.

Сидели, плакали.

— Я согласна, — сказала Поля.

За окном стояли березки. Полины ровесницы. На них суетились воробьи, чирикали...

Вечером приехал жених в собственном экипаже, для пущей важности на нем был мундир с орлеными пуговицами. Плешивую голову покрывала новенькая треуголка с кокардой, а худенькие ножки путались в прицепленной с левого бока шпаге. За ним Григорий в зеленой ливрее нес кульки.

Варвара, уже успокоившаяся, встретила жениха у порога. Кланялась низко.

— Аполлиария Петровна, — расшаркался перед ней Вахрамеев, беря в свои сухие, дряблые ладони ручку Поля. — Рад снова лицезреть вас и принести сердечные чувства.

— Присядьте, Матвей Агафонович, — вымолвила Поля.

— При вас недостоин, — жеманничал старик. — Когда вы займете место, тогда и я.

Поля вздохнула и села. Гость опустился на другой закрипевший и застонавший стул, держа перчатки и треуголку на коленях.

— Знаете, прекрасная девица, по какому поводу я пожаловал к вашей тетушке?

— Да, знаю.

Вахрамеев привстал, треуголка и перчатки упали на пол. — Какое же ваше решение?

Тетушка на кухне распечатывала кульки, восхищалась: жареные цыплята, фрукты, две бутылки шампанского, марципаны, банка паюсной икры и кусок провесной семги.

— Вот что значит богатство!

— Какое же ваше решение? — вторично задал вопрос Вахрамеев.

— Не люблю вас, Матвей Агафонович, и скрывать не желаю. Но поскольку тетушкой слово дадено...

— Стерпится — слюбится. Все усилия положу, чтобы быть полезным, птичьего молока и то достану-с. Я в годах, но еще молодец, ей богу. Значит, согласны быть моей супругой?

— Да. — Поля шаталась от душевной усталости.

— Не пожалеете, Аполлиария Петровна. Примите от жениха.

Матвей Агафонович вынул из мундирного кармана большой кожаный футляр, раскрыл — и там нежно, умиротворяюще засветилось аметистовое ожерелье.

Поля, как замороженная, вбирала в себя этот нежный свет, и лицо ее невольно подобрело, и исчезла горькая складка у губ.

— Ой, Полюшка! Благодарю благодетеля.

— Спасибо, — вымолвила невеста и взяла футляр.

Тетушка засуетилась. Накрыла на стол пеструю скатерку. Раскладывала на разнокалиберную бедную посуду богатые яства.

— Танцевать умеете, Аполлиария Петровна? — ласково спросил жених.

— Да, Сонечка Брянцева обучала.

— И всякие светские танцы, что на балах в столице, можете?

— Могу.

Матвей Агафонович зажмурился от удовольствия. Налил всем шампанского.

— Премного утешили. Всем взяли: и сердечком чистым, и видом ангельским, и поведением. За здоровье вашей тетушки! — и по-ухарски залпом выпил стакан шампанского (бокалов у Варвары и в помине не бывало).

Уезжая, Вахрамеев передал Варваре две сотни. На шитье для невесты приданого и еще десятку лично тетушке, чтобы купила себе посуды чайной и столовой.

— Вот видишь, дурочка, как старичка-то проняло, задело. Теперь он для тебя закуролесит.

Поля молчала. Сидела за столом, словно мертвая. Кот Тронька — рыжий и всегда голодный — жрал, как собака, в углу куриные кости, стонал от наслаждения и фыркал.

Поля взяла со стола футляр. Раскрыла. На вишневом бархате нежно и умиротворяюще засветились аметисты.

* * *

Обо всем этом и рассказала Поля Сиротину. Встретились на Соборной горке, присели на скамейку. Река обмелела. У перевоза качалась лодка. Он мял в руках картуз с надломленным козырьком.

— Мечтал я, Аполлиария Петровна, по окончании подать прошение в губернскую канцелярию. В священники я не гожусь, желание есть заняться сочинительством. Меня кое-кто знает как поэта.

— Я об этом наслышана, Василий Иванович. И что сочиняете?

— Всякое. Преимущественно такое, что начальству не нравится.

— Зачем же тогда? — удивилась Поля.

— Нельзя иначе. Кругом мерзость, неустройство, — ответил Сиротин. — Теперь о нашем. Мечтал — поступлю на службу, сниму квартиру, вы туда хозяйкой пожалуете.

Поля ловила устремленный на нее взгляд Сиротина. Видела его ставшее близким молодое лицо, и даже его веснушки казались ей удивительно привлекательными.

Сказала обреченно:

— Что же делать, Василий Иванович? На попятный не пойдешь. Тетушка и деньги на шитье приданого получила.

Он взял ее руку, маленькую и шершавую от работы, кончики пальцев жесткие — надо коклюшки перебирать по десять часов в сутки.

— Люблю вас.

Мимо прошли двое семинаристов. По обычаю сделали вид, что незнакомы.

— Мне пора, Василий Иванович, — поднялась со скамейки.

Стояла тоненькая, как хворостиночка. Одни глаза...

— Знаете, Аполлинария Петровна, жил давно в Италии поэт Данте. Он сочинил великую поэму «Божественная комедия». Там об аде, чистилище, девяти кругах. А на дверях надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Это ко мне относится. «Оставь надежду».

По реке плыла рыбацья лодка. Снасти лежали на корме. Видно, улов неудачен. Рыбак еле помахивал веслами.

— Поэт Данте всю жизнь любил прекрасную Беатриче. С первого взгляда оба влюбились. Влюбились, а не соединились.

— Почему? — девушка подняла глаза на семинариста.

— Такова фортуна, Полечка, простите, что так называю. Несчастливая фортуна, что значит — богиня судьбы!

Когда Поля ушла, он долго сидел, безучастно глядя на реку...

Начались занятия в семинарии, а тяжелое настроение Сиротина не сгладилось. Чтобы не растравлять себя мыслями о свадьбе Аполлинарии, много читал светской литературы.

Прочел в старом «Петербургском сборнике» роман в письмах «Бедные люди». Сначала было смешно. Живут двое рядом в одном доме, а переписываются. И все эти бесконечные эпитеты: «Маточка вы моя», все это нытье не нравилось. Хотел бросить, но не смог. Чем дальше, тем занимательней становился роман. Маленький канцелярист Макар Девушкин был уже для Сиротина не смешным, и горечь охватывала за судьбу двух бедняков. Торжествуют богачи. Им все доступно. Почет и невесты — все на свете...

По ночам опять бессонница. Садился к столу, зажигал огарок свечи, писал. В сотый раз сажал в ад на всевозможные муки богачей: скулябиных, свешниковых, вахрамеевых — всех тех, кто охраняет их, всех тех, кто молится за них.

Одичал. Задавал преподавателям несусветные вопросы.

Профессор Суворов как-то зазвал Василия к себе на квартиру. Сели в зальце. За окнами листопад, редкие прохожие. Николай Иванович принес графинчик черемуховой настойки. Налил по рюмке, поставил в вазочке домашнее печенье.

— С чего вы, Василий Иванович, опечалились? Я ваш классный надзиратель. Ко мне жалобы идут от преподавателей. Какая муха вас укусила?

Профессор, ценивший поэтический дар семинариста, спрашивал деликатно.

— Надоела жизнь, Николай Иванович.

— Она у вас только начинается.

— Начало не из удачных, профессор.

Семинарист подряд выпил две рюмки.

— Каковы ваши поэтические успехи?

Профессор пригубил из рюмочки.

— Сочиняю, да толку что! Все равно для списков, а не в печать.

— Вашу поэмку во всех присутственных местах знают. Трудно будет вам, Василий Иванович.

— Трудно, Николай Иванович. Авось, канцелярское место дадут.

— А в священники? — осторожно спросил профессор.

— Почему же, Николай Иванович, вы им не стали сами? Вам бы как магистру богословия в столице место нашлось. Там уважают ученых попов.

— Меня наука привлекла, археология и история, — сухо ответил Суворов и сделался замкнутым, официальным.

На улице листопад.

— Герцена читаете?

— Читаю, профессор. Многие семинаристы читают. Об этом, поди, и архиерей знает.

— Одобряете?

- Всеконечно. Вам об этом заявляю прямо. Не пойдете же вы к жандармам.

— Глупости! Как не стыдно!

Суворов обиделся. Зашагал по комнате.

Сиротин искренне удивился:

— Да чего вы это к сердцу приняли, Николай Иванович? Мы вас любим, верим вам. Если я не так выразился, простите.

Профессор успокоился.

— Выпейте еще рюмочку настойки, — проговорил ласково.

В зале было чисто и скучно. И казалось, что знаменитый историограф Николай Михайлович Карамзин в черной рамке на стене тихо и благоговейно дремлет...

Сиротин распрощался с Суворовым. Стало невозможно в этом уютном жилье молодого профессора. Ушел в архиерейский * сад. Сад был большой, с прудом. Накапывал дождь. Обнаженные деревья, листья под ногами. Пруд подернулся ряской. В беседке отдыхал бородатый, лет тридцати пяти мужчина в широкополой шляпе и в черной суконной накидке с бархатным воротником. Такие носили художники и литераторы. Он курил. По запаху табак был «жуковский», дешевый. Табачный дым напомнил Сиротину о забытом дома кيسете. Трубочка, однако, была в кармане семинарской шинели.

Он подошел. Представился. Бородатый сказал приветливо:

— Я заочно с вами знаком, господин Сиротин. Приятели-канцеляристы дали тетрадку с вашими стихами. Я, может, слыхали, слухом земля полнится, живописец Платон Семенович Тюрин.

— Наслышан про вас, Платон Семенович. Серебряную медаль выдали вам за успехи в художествах.

— Медаль не кормит, Василий Иванович. Я женился. Дочка малютка. Учиться поздно начал. Я ведь из крепостных.

Закурили. Разговорились о том, как трудно пробиваться без влиятельных меценатов и какие бывают подлецы эти покровители изящных искусств.

*) Ныне парк культуры и отдыха Вологодского паровозовагоноремонтного завода.

— Я с одного гофмейстера писал портрет. Натура великолепная, дурость и чванство во всем облике. Велел списать и любимую сучку Эльвиру. Барин выдал мне через камердинера пять червонцев и приказал накопить на кухне, а собаку изволил посадить на стул в зале, где и сам завтракал. Сидит Эльвира, ей салфетку повязали на шею, и холуй прислуживает.

Курили поэт и художник. Беседовали. Потом вышли вместе. На гладкой аллее повстречали сухонького старика в меховой шинели. За ним слуга нес зонтик и книгу.

Сиротин снял картуз, поклонился низко, как не кланялся и ректору. Приподнял шляпу и Платон Тюрин.

Старик взглянул на них. В глазах лихорадочный блеск. Однако на поклоны ответил, кивнул головой, гордо проследовал дальше. Под его каблуками жалобно шуршали осенние листья. Это был психически больной, когда-то учитель Пушкина, друг Жуковского, Гнедича и Вяземского, отважный офицер и прославленный поэт Константин Николаевич Батюшков.

* * *

Вахрамеев торопился со свадьбой. Сваха то и дело бегала из богатого особняка в покосившуюся избушку.

— Матушка Варвара, что ты медлишь? Жених извелся, ночами не спит, похудел, прислал еще сторублевую. Торопитесь. В Дмитриевской церкви священник уже объявление о свадьбе по правилам православных канонов сделал.

Березки у крылечка осыпали мокрую побуревшую траву сухими желтыми листьями, а Поля все еще откладывала день свадьбы.

— Не срами ты меня, Аполлинария! — взывала к ней Варвара.

Наконец Поля не выдержала и дала согласие на тридцать первое октября — на день апостола Луки и Иосифа Волоцкого.

Дьякон Амфилохий, встретив на улице Сиротина, сообщил:

— Знаешь, Василий, у нас на апостола Луку венчанье. Старик Вахрамеев и певица Аполлинария. Дедушка и внучка. Черт и младенец. Вот что деньги де-

ляют! После свадьбы всему причту угощение...

В храме зажгли все паникадила и лампы. Свечи освещали лики икон и фрески.

Нечестивые старцы бежали по стене, побиваемые камнями, похожими на пухлые мячики.

В храме благоухание ладана. Тепло. Публика чиновная, мундирная, много дам. Среди них мать и дочь Брянцевы. Они не очень веселые: им жаль молоденькую кружевницу. Пришли на свадьбу, чтобы не обидеть тетку Варвару и Полю.

По дорожке красного сукна провели жениха и невесту. Хор запел звонко, радостно: «Гряди, гряди, голубица». Поля в белом подвенечном платье и жених в мундире. Сзади во фраках — шаферы.

— До чего ж мила и безответна, — прошептала Брянцева дочери.

Соня в ответ:

— Бедняжка, он суцая кикимора, шишага лесная!

Варвара в праздничном шерстяном платье плакала. Отчего плакала, и сама не знала. Кажись, богатство и дворянство рядом с Полей. Кажись, проснется завтра ее Поля барыней, советницей...

Сиротин в это время сидел в трактире и пил водку. Пил много и ожесточенно. Знал, что сейчас венчают Полю. Пропивал то, что заработал у купца Буторова за приведение в порядок торговых книг. Пропивал свою мечту о Поле, о семейном счастье, о любви.

Вышел, когда тускло мерцали редкие уличные фонари. На мостках чуть не упал. Шатало. Улица, казалось, перекосилась. Улица казалась пьяной.

Прислонился к уличному фонарю. Постоял, глотая сырой вечерний воздух. И опять пошел. А с ним пошла его тоска. Тоска была неотвязчивой. Тоска требовала выхода.

«Левая, правая где сторона?»

Кто это прокричал? Для чего? Для исхода тоски? Или это сама тоска?

«Улица, улица, ты, брат, пьяна».

И повторил:

— Ты, брат, пьяна.

Фонари снова тускло замелькали. То справа, то слева. Фонари не желали стоять прямо. Как же так?

Ведь для каждого предмета должно быть свое место. Они пьяны, эти кособокие, тусклые, как жизнь, фонари.

— Эх, господа фонари, вы ведь пьяны!

Сиротин засмеялся. Смех был грустен.

Поэт знал: там, на набережной, в чиновничьем особняке советника и кавалера Вахрамеева — пир свадебный, гости кричат:

— Горько!

И молодая подставляет свои юные губы сморщенному старческому рту.

— Горько! — прошептал Василий.

«Горько! Горько!» — замигали фонари.

Из-за туч показался месяц серпиком. Было новолуние.

Эх! Как ни обновляйся месяц, а ты, старина, дружище, симпатичный ты дядя, а все равно тебе не тягаться с чиновными звездами и золотыми крестами... Не тягаться... Да ты, брат, улыбаешься? Напился, что ли?

Месяц улыбнулся и исчез. Так и не ответил.

Пошел косой дождь. Дождь и ветер. Ветер и дождь.

«Правая — левая,
Левая — правая
Где сторона?»

Добрел до сторожки. Вздремнул. Потом проснулся. При свете огарка начал писать. Ясно все увидел: и фонари, и месяц. Уловил и ритм сегодняшнего пьяного скучного веселья.

«Раз возвращаюсь домой я к себе:
Улица странною кажется мне —
Левая — правая
Где сторона?
Улица, улица,
Ты, брат, пьяна...»

Сиротин писал. Пусть эти строки будут для таких, как он. Пусть хоть немного утешают они таких же обездоленных, как он:

«И фонари так неясно горят,
Смирно на месте никак не стоят, —
Так и мелькают туда и сюда.
Эх! Да вы пьяные все, господа».

За перегородкой с присвистом храпел дьячок. Храп не мешал. Поэт не замечал его. Не до того было.

Сиротин писал. Все хорошо, только немного ломит виски. Совсем немного. Отбивал такт ногой, отбивал такт кулаком. Исправлял, ставил кляксы, размазывал чернила. И становилось легче. Тоска уходила в строчки.

«Ты что за рожи там, месяц, кривишь?
Глазки прищурил, так глупо глядишь?
Лишний стаканчик хватил, брат, вина:
Стыдно тебе, ведь уж ты старина».

Припев ложился уже стройно:

«Левая — правая
Где сторона?
Улица, улица,
Ты, брат, пьяна».

К утру стихотворение было готово. Удивился, переписывая его начисто в трех списках. Самому понравилось.

— Надо в трактир, — сказал вслух.

В трактире перед стойкой — знакомый буфетчик, сын хозяина, поклонник сиротинского таланта, любитель пения и чтения.

— Василию Ванычу, — расплылся улыбкой, протягивая на подносе чайник, стакан, два куска сахара, сайку и рюмку очищенной.

— Почитай, — Сиротин положил на стойку листок.

Парень вежливо:

— Музы вашей?

Сиротин сел за ближний столик:

— Моей музыки, ночью сочинил...

Лицо у парня просияло. Дочитал до конца. Языком прищелкнул:

— Певучая штука, Василий Ваныч, пойдет в народ, верьте слову — живучая.

Поклонник сиротинского таланта не ошибся. «Певучая штука» пошла в народ.

Через некоторое время поэт вечером повстречал двух мастеровых малярного цеха. Шли по улице, и один из них высокой фистулой выводил:

«Правая — левая
Где сторона...»

Другой подхватил:

«Улица, улица,
Ты, брат, пьяна...»

А еще немного позднее, о чем Василий Сиротин не знал, в Москве «Улицу» издал нотный книготорговец Грессер и оранжировал для голоса с фортепьяно композитор А. Дюбек. Только почему-то наименовал ее «Цыганской песней», и исполняли ее в цыганском хоре у «Яра» *).

Там были иные слова: «Раз от цыганок иду я к себе», но в провинции продолжали петь по-сиротински: «Раз возвращаюсь домой я к себе».

Варьировался и припев. В Вологде, Великом Устюге, Грязовце пели:

«Правая — левая
Где сторона...»

В других местах:

«Левая — правая
Где сторона...»

Смысл от этого не менялся.

Через десятки лет, в 1947 году, когда в родной для Сиротина Вологде праздновали 800-летие города, знаменитый бас народный артист Максим Дормидонтович Михайлов спел «Улицу» как народную песню.

В 1957 году «Улицу» издало в Москве — в той же аранжировке Дюбека — музыкальное государственное издательство — тоже как народную. И никто не указал имя автора текста — вологодского поэта Сиротина.

Все это было потом, и знать об этом поэт не мог.

Но услышав, как пели «Улицу» мастеровые, он понял, что люди приняли его дар.

В ту ночь приснилась ему Поля. Не госпожа Вахрамеева, а та Поля-кружевница. Она гладила его по волосам.

Потом пропала. И все пропало. Наступило серое утро под надоевший колокольный звон.

Время бежало. Как в сказке. Недели. Месяцы. Годы.

Над Российской империей отшумела Крымская война. Новый царь Александр Второй произнес свою

*) В журнальчике «Арлекин» (1859) эта песня была в искаженном виде напечатана как «перевод с немецкого», а в сборнике издания Сойкина (1904) как «Песня пьяного студента». Автор не указан.

знаменательную фразу о том, что лучше освободить крестьян сверху, чем дожидаться, пока это придет снизу. В обществе заговорили о крестьянской, судебной, земской, университетской, военной реформах.

Из Сибири вернули стариков—декабристов и петрашевцев. Молодежь зачитывалась «Современником» Некрасова, статьями Чернышевского, романами Тургенева, «Севастопольскими рассказами» Толстого. Появились первые огненные статьи юноши Добролюбова. Достоевский напечатал «Записки из Мертвого дома».

В Вологде поставили в собор знамена ополченческих губернских дружин. На кладбище Прилуцкого монастыря похоронили Константина Батюшкова. На частных квартирах собирались врачи, либеральные чиновники, гимназисты и семинаристы, требовавшие организации земского самоуправления.

Жандармы несколько растерялись, притихли, но в недрах управления вели учет списков «неблагонадежных». А в глухом Зырянском краю, у самой тундры, далеко за уездным Усть-Сысольском *) на забытом погосте стояли деревянная церквушка, похожая на часовню с чешуйчатым куполом и две черные поповская и дьяческая избушки. Здесь жил священник Сиротин — «бачка», как звали его коми-зыряне. Жил как в полусне. По утрам с дьячком произносил заученные молитвы, выезжал верхом по требам к прихожанам, крестил, хоронил, венчал.

По воскресеньям дребезжали три захудалые колокола. Зажигали лампадки перед образами. Приходили урядник, лавочник, их супруги, почтовый чиновник, фельдшер с дочкой, старой девой — учительницей приходской школы. Ее воспитанники вразброд тянули песнопения.

После службы лавочник приглашал уважаемых сельчан и батюшку на пирог. Пили водку, сплетничали, ругательски ругали «инородцев»-зырян.

Василий Сиротин отмалчивался, не разговаривал с этой волостной знатью. И они не жаловали священника. Считали его нелюдимом, гордецом, сумасшедшим. Он не притеснял коми, брал сколько ему давали за требы, и горька была ему эта плата. Жгли ладонь ме-

*) Усть-Сысольск — ныне Сыктывкар — столица Коми АССР.

дяки, и неприятно было класть в сани куски оленины или вяленую рыбу.

Здесь Сиротин был изгой. Страшное это слово — изгой! Отколовшийся от своей среды, никому не нужный.

Когда в Вологде Василий Иванович пошел наниматься на гражданскую службу, нигде не приняли. Вице-губернатор отказал пренебрежительно, председатель казенной палаты — сухо, а знакомые купцы отговаривались тем, что примешь такого вольнодумца конторщиком — начальство разгневается. Полицмейстер строго наказал никуда вредного писаку не принимать.

Епифаний Богословский, однокашник Сиротина по выпуску, устроившийся чиновником в архиерейскую канцелярию, посоветовал Сиротину:

— Знаешь что, друже, подавай прошение на место священника в Усть-Сысольский уезд. Сюда приехала за женихом дочка умершего попа из Кузьмидемьянского прихода. Все одно — никуда тебе не определиться.

— Веры у меня мало, — хмуро проговорил Сиротин, нет ее у меня, понимаешь, Епифаний, нет!

— Ты держи это про себя, — ухмыльнулся Богословский. — Тебе не вера нужна, а кус хлеба. Я, брат, тоже из маловеров, а помалкиваю. Кормить семью надо.

— Уехал бы я отсюда, противно мне все здесь...

— Глуп ты, Василий, выедешь из пределов губернии — обратно направят. Мог бы ты в академию податься, если бы имел первый разряд, а у тебя второй, да и то в конце.

— Нет, — решительно заключил Богословский, — женись и выходи в попы, другого места не дожидаться.

Был Сиротин и у Николая Ивановича Суворова. Тот только разводил руками, сочувствовал, обещал поговорить с ректором Ювеналием, пусть у епископа попросит снисхождения.

Архиерей был доволен. Ведь предугадывал судьбу крамольного семинариста.

— Так и вышло, отец Ювеналий, так и вышло, — ехидничал преосвященный. — Будет, аки апостол, у язычников.

Ювеналий нахмурился:

— Не слишком ли жестоко, владыка? Профессор Суворов утверждает, что Сиротин талант, а мы его — на край света. Он там сохнет. Правда, сей поэт и меня высмеивал, но справедливости ради — достоин сожаления.

— Грешник он, — настаивал владыка. — Не будет ему другого места, и не расстраивайте меня, отец Ювеналий.

Невеста из Кузьмодемьянского прихода оказалась перестарком двадцати девяти лет и, судя по нездоровому румянцу, чахоточной. К тому же сварливой и полуграмотной.

Сиротина женили, посветили сначала в дьяконы, затем в иереи, выдали «ставленную грамоту» и отравили в глухомань.

Коми землепашец, коми охотник и рыбак... Какие это сердечные люди, если к ним относиться без предубеждения! В каждом поселке, на каждом стойбище молодого «бачку» Васю принимали гостеприимно. Обиравые купцами и чиновниками, спаиваемые сивухой, смешанной с махоркой, терпящие неимоверную нужду, болеющие трахомой и чахоткой, они готовы были отдать последние крохи за человеческое отношение.

— Ты, бачка, больно хорош, не кричишь, не бранишься, берешь, что дают, больше не требуешь...

В дымном шалаше слушал Василий, сидя на оленьей шкуре, длинные песни и сказки о храбрых охотниках, знаменитых богатырях, о волшебных оленях в упряжках. Он рассматривал глиняных черных божков, хранителей домашнего очага и покровителей охоты.

Его не возмущало то, что эти языческие реликвии почитались в каждом доме. Наоборот, они нравились своей примитивностью. Он смеялся, слушая о том, как при удачной охоте божков обмазывали жиром, а при неудачной пороли розгами.

Епархиальное начальство требовало от Сиротина «неукоснительной строгости в отношении искоренения пагубных языческих верований среди инородцев вашего прихода», но он не обращал никакого внимания на эти приказы и отписывал кратко: «Всепокорнейше доношу, что отклонений от православной веры у при-

хожан Кузьмодемьянского прихода не наблюдается».

Дома жена постоянно грызла незадачливого пастыря.

— Ты, отец Василий, блаженный какой-то, пишешь ненужное, о прибытках не заботишься.

Весной и летом Сиротин с удовольствием занимался сельским хозяйством, возделывал свой кусок земли, сеял рожь, овес и репу, заготавливал на зиму дрова. Работа утомляла, давая успокоение. Зимой было хуже. Попадья кашляла, нудила причитаниями. Однажды, когда Сиротин был в отъезде, она сожгла все его рукописи: список поэмы «На докладе у сатаны», тетради по этнографии Зырянского края и новые стихи...

Как-то узнав от прихожан, что лавочник грозит описать имущество трех бедняков коми, Сиротин решил проучить богача. После обедни верующие подходили к кресту. Среди первых был лавочник. Сиротин, протягивая ему серебряный крест, сказал:

— Возьми вместо долговых зырянских расписок, возьми!

— Что ты, батюшка, что ты! — лавочник засопел носом и отошел, как оплеванный.

Вечером лавочник и урядник писали жалобу архиепископу, что священник «над религией надсмешается и православных сынов церкви, царя и отечества паскудит».

Прощение кончалось требованием убрать Сиротина и посадить его в монастырскую тюрьму.

За погостом тянулись леса, а дальше шла тундра, где паслись олени стада. Зимой там было белым белым и удивительно хорошо проехать на оленьих нартах со знакомым охотником. Простор тундры, гортанные песни, стремительный олений бег, опрокинутое небо над миром тишины — все это настраивало на поэзию.

Однажды, вернувшись домой, Сиротин застал жену, державшую у рта окровавленный платок. Она взглянула на него ненавидяще:

— Довел ты меня, поп, до гроба.

Василий хотел обнять жену, сказать что-нибудь утешительное, ласковое.

— Не подходи! — закричала страшно она.

Василий опешил, сел на лавку, а она, откашливая кровь и вытирая губы платком, плакала:

— Умру к весне я, отец Василий, освобожу тебя.

Весной Сиротин похоронил жену. К лету пришел указ из консистории, коим вменялось местному начальству отобрать у иерея Сиротина за недостойные поступки и зазорное поведение «ставленную грамоту» и взять с него подписку о явке в Вологду к архиерею для дальнейшего решения его участи.

Долго вспоминали жители Коми «бачку Василия», их друга и незлобивого человека.

* * *

Далее судьба Василия Сиротина теряется в неизвестности. Только в официальной записке «О состоянии вологодского духовного училища за сто лет его существования», составленной смотрителем В. Лебедевым, в списке второго отделения фамилия Сиротина сопровождается примечанием, что этот «известный во всей Вологодской губернии поэт был священником в Зырянском крае, по лишению сана был в Америке, умер в Вологодской губернии».

В воспоминаниях Алексея Попова, изданных в 1911 году, три странички отведены Сиротину. Попов — бывший Вологодский семинарист, признавая талант старшего коллеги, почему-то ничего не сообщает о поездке поэта в Америку, а говорит лишь о том, что его сослали на покаяние в Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере. Попов перечисляет стихотворения поэта, в том числе и «Улицу», особенно выделяя поэму «На докладе у сатаны».

При сопоставлении этих сведений с теми, что удалось почерпнуть у краеведов и в архиве, дальнейшая судьба Василия Ивановича Сиротина рисуется примерно так. Очевидно, свободолюбивый поэт в Соединенных Штатах не прижился. По всей вероятности, русские моряки помогли ему вернуться обратно в Архангельск.

Сиротин приехал умирать на родину. Епархиальные власти задержали его и сослали «на покаяние» в суровый Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере.

Старый больной поэт вынужден был посещать церковные службы, отмаливал земными поклонами грехи. Сырая келья, полицейский надзор отца-игуме-

на, плохая пища окончательно подорвали здоровье. Обращения к столичным высокопоставленным особам о помощи оставались безответными. Только один раз из канцелярии ведомства императрицы Марии прислали пятьдесят рублей. Поэт-бедняк с горечью писал:

«Живу на Каменном у Спаса,
Приют мой нынче — монастырь,
Весь скарб мой — сапоги да ряса,
А библиотека — псалтырь!»

Ночью, когда несмелая северная весна заглянула в узкое оконце кельи, старый поэт поднялся, взял ватную куртку, надел на заплатанный подрясник, сложил в мешок самодельную тетрадь, хлеб, огарок свечи, несколько серебряных монет и тихонько вышел на монастырский двор. У ворот монастыря служка, зевая, спросил:

— Куда, отец Василий?

— Подышать воздухом. Пропусти.

Служка подумал и открыл калитку.

Больше Сиротин в монастыре не появлялся. Отвязал от причала рыбацью лодку. Взмахнул веслом. Следы его затерялись на Вологодчине, и где он нашел свой конец — неизвестно.



СО Д Е Р Ж А Н И Е

Изограф	4
Парадиз	5
Государев гнев	19
Царевна Ксения	23
Воевода Плещеев	27
Казнь крестьянки	30
Портрет неизвестной	32
Повесть о Василии Сиротине	36

Владимир Степанович Железняк
«ОТЗВЕНЕВШИЕ ШАГИ»

Редакторы *Е. Ф. Богданов* и *В. М. Малков*
Оформление *Н. В. Железняк*
Художественный редактор *В. С. Вежливцев*
Технический редактор *С. И. Соколова*
Корректор *Н. К. Галкина*

ГЕ07351. Сдано в набор 25. IX. 1968 г. Подписано к печати 6. XI. 1968 г.
Формат 84×108/32. (Бумага типографская № 1). Бумажных л. 0,75.
Печ. л. 2,46. Уч.-изд. л. 3,17. Тираж 15 000. Цена 10 коп. Заказ 5727.

Областная типография, г. Вологда, ул. Калинина, 3.

10 коп.

